

Э Д У А Р Д
ЛИМОНОВ

В СЫРАХ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Эдуард Лимонов

В Сырах

«Издательство К.Тублина»

2012

Лимонов Э. В.

В Сырах / Э. В. Лимонов — «Издательство К.Тублина», 2012

ISBN 978-5-8370-0562-6

Новый роман Эдуарда Лимонова посвящен жизни писателя в Москве сразу после выхода из тюрьмы. Легендарная квартира на Нижней Сыромятнической улице, в которой в разное время жили многие деятели русской культуры, приютила писателя больше чем на два года. Именно поэтому этот период своей беспокойной, полной приключений жизни автор назвал «В Сырах» – по неофициальному названию загадочного и как будто выпавшего из времени района в самом центре Москвы.

ISBN 978-5-8370-0562-6

© Лимонов Э. В., 2012

© Издательство К.Тублина, 2012

Содержание

Предисловие	5
«Веничка...»	7
Девочка-бультерьерочка	15
А потом...	22
Варенька	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Эдуард Вениаминович Лимонов

В Сырах

(Роман в промзоне)

Предисловие

Выйти из тюрьмы было хорошо. Потому что, несмотря на возраст шестидесяти лет, это давало возможность начать новую жизнь. А ведь человека, – хлебом не корми, дай ему возможность начать новую жизнь.

В тюрьме я помудрел. Потолкался среди русского народа, пожил, пострадал рядом с ним, видел с ним зачастую одни сны, опростился, одним словом. Слез с пьедестала своего знания и интеллекта. Стал, как Коляны, Сережки и Сашки. На уровне страдающего тела, – я как они, то неуместно строгий, то неуместно легкомысленный Russian man.

Вышел из лагеря я как-то быстро, не надеялся, а вышел. Между прочим как-то вышел. Не стремясь особо, готовый тянуть и выносить дальше. Но вышел.

И вот в конце августа я переселился в лунатический, пустой квартал старых строений, где под пыльным солнцем грелись только опасные бродячие собаки и не было в ту пору людей. Ну, как не было...

В будние дни шли немногочисленные фигуры через тоннель вниз к Яузе, в завод «Манометр», но общее их количество вряд ли превышало размер бригады вохровцев, охраняющих завод. А так было пусто! Жаркий ветер пятидесятых годов прошлого века шевелил кронами пыльных деревьев, тихо осыпалась краска и штукатурка с перегревшихся старых домов. Сорные травы мощными корнями взрывали остатки когда-то асфальтированных тропинок, насекомые вольно плодились и размножались. Шуршали и пищали.

С самого начала промзона задала мне мистический тон. Разбухшие деформированные рамы окон моей квартиры поскрипывали, как суставы больного старика, форточки то не закрывались, разбухшие от погодных артритов, то вдруг становились на размер меньше. Вечерами непроницаемая темнота опускалась на Сыры, и если бы не охранники, было бы боязно мне подъезжать к моему подъезду... Ночами шумели кронами деревья, кричали дикие птицы и поезда. Порой доносились аудио отдаленных драк, возможно, это дикие бомжи дрались за булку хлеба. И всё это в пяти минутах от цивилизации, где на Садовом кольце уже был сооружён блистательный торговый центр «Атриум»!

Впрочем, со временем цивилизация медленно, но стала проглатывать Сыры. Вначале в подъезды поставили железные двери и домофоны. Проснувшись для жизни наконец, местные жители, потомки рабочих завода «Манометр», смекнули, что выгодное расположение в центре города даёт им уникальный шанс стать буржуазией, – «рантье», и стали сдавать внаём либо продавать свои квартиры, а сами удалялись жить в далёкие спальные районы. Семиэтажка (четыре этажа были построены в 1924 году, а ещё три надстроены в шестидесятые годы) заселялась иными, состоятельными, людьми. Автомобили всё плотнее забивали узкую полосу дороги вдоль дома. И это уже были недешёвые автомобили. Жильцы избрали пухлую высокорослую блондинку старшей по дому. И блондинка не была потомком рабочего завода «Манометр». Два дома en face от нашей семиэтажки были отремонтированы и снабжены оградами. В одном разместился банк, в другом всякого рода офисы. По ночам эти дома были освещены прожекторами, бьющими светом с их крыш. Стало слишком светло, если ранее было удручающе темно. Охранники стали дежурить у шлагбаумов. Происходил процесс «джентрификации», то есть

«облагораживания» промзоны. Я наблюдал подобное когда-то вначале в Нью-Йорке, затем в Париже. И вот цивилизация стала наступать на Сыры, тесня её призраков...

Эта книга имеет подзаголовок «Роман в промзоне», справедлив ли этот подзаголовок? Таинственные Сыры послужили сценической площадкой и декорациями для пяти с лишним лет моей жизни. В «убитую» квартиру являлись персонажи моей жизни этих лет, её действующие лица. Являлись и персонажи из моей прошлой жизни, то есть, в конечном счёте, здесь происходила моя жизнь. Сюда приходили женщины и политики, сюда я привёл впервые будущую мать моих детей. Актрису. Ну конечно, это роман, но роман современный.

«Веничка...»

Выйдя из лагеря, я поселился за Курским вокзалом, в промзоне, на Нижней Сыромятнической улице, в обширной и запущенной квартире. Рядом с заводом «Манометр» стоит семиэтажный дом. Тогда это был единственный обитаемый дом в промзоне, стиснутый речкой Яузой с одной стороны и отходящими от Курского вокзала железнодорожными путями, вознесёнными на высокие эстакады, с другой. В доме жили всякие чудики. Гулял с собачкой поседевший музыкант Гера Моралес, – лидер группы «Джа Дивижен», у него на концертах висел над сценой рисованный марихуанный лист, ну вы всё поняли... На первом этаже, подо мной, жил майор милиции...

Всё вместе, с несколькими туннелями, с неработающими корпусами заводов, с пустырями за Яузой, место это, называемое в народе «Сыры», имело мистический вид. Здесь можно было целые дни снимать фильмы ужасов по сценариям Ганса Гейнца Эверса или Лавкрафта, ей-богу. Однажды возвращающуюся от меня рано утром девушку покусала стая собак, а в другой раз приехавшая ко мне в гости пара видела банду парней, крушивших бейсбольными битами автомобиль. В Четвёртом Сыромятническом переулке, как раз в том месте, где сейчас вход в центр современного искусства «Винзавод», ночами стояли толпой проститутки. Их привозили на двух микроавтобусах, этих бедных девок. Ну вы поняли, что было за место.

Как я попал туда? Я унаследовал квартиру (владела ею квартирная хозяйка – пожилая бывшая официантка, жена слесаря) от директора издательства «Ad Marginem» Миши Котомина. Вещей у меня после тюрьмы не осталось. Я приехал с сумкой и французским мешком «Почта Франции» и стал жить. Меня привозили и увозили на красной «пятёрке» охранники. Я строго подчинялся суровому распорядку жизни лидера радикальной (тогда ещё не запрещённой) партии. Если соседи пытались познакомиться со мной, я уходил от знакомств. Звонок на двери я отрезал, на стук в дверь не отвечал. Где-то через полгода жильцы установили домофон, и я стал пользоваться домофоном строго выборочно, отвечал только если ожидал посетителя. Девушка, встретившая меня из заключения, отвыкла от меня, пока я сидел, и постепенно отдалась. Если я не был приглашён куда-либо, вечера я обыкновенно проводил с белой крысой, оставшейся от девушки, когда она вернулась к родителям.

Крыса откликалась на имя Крыс и была чудесным другом, веселила меня и скрашивала жизнь. Я, конечно, подумывал о том, что нужно бы обзавестись новой подружкой, но это предприятие для человека охраняемого, не покидающего дом без охраны, представлялось трудным. Трудоёмким. Впрочем, я неустанно пытался, подружки появлялись, но когда ты вышел из лагеря и тебе шестьдесят лет, тебе трудно угодить.

Однажды, была весна, я вернулся со скучнейшей вечеринки, устроенной одним немецким журналом в честь вступления в должность нового главного редактора. Делать там было мне нечего, толпа состояла главным образом из русских чиновников и официозных журналистов, юных девушек не было вовсе. Были крупнотельные матроны. Потому я больше обычного налегал на алкоголь. Так что, привезённый охранниками домой, я был слегка пьян и умеренно зол. С весёлыми возгласами молодые парни покинули меня, чтобы отправиться к подружкам, а может быть, они выпьют, наконец... Не мне же одному... Я запер за ними двери (тогда у меня были одни двери, впоследствии я поставил ещё одни) и отправился в кухню, где между старинной ванной на ножках и газовой плитой стояла клетка с крысой. Крыс радостно повисла на прутьях, предвкушая свободу. По ритуалу я должен был её сейчас выпустить, и после радостного путешествия по моей штанине, затем по рубашке, и на моё плечо, она спустится на пол, обегает всю квартиру, комнату за комнатой и коридор, все шестьдесят два квадратных метра...

Раздался стук в дверь.

Крыс успела выскочить в приоткрытую мной дверцу клетки и уже карабкалась по штанине моих джинсов. Я не пошёл открывать дверь, я даже не сдвинулся к двери. Оперативники стучат иначе, их наглый стук не спутаешь со стуком соседки, пришедшей попросить соли. Впрочем, никакие соседки меня давно не беспокоят. Боятся иметь дело...

Стук повторился. Такой сдержанный по характеру стук. Не оперативный. Можно было бы и открыть. Но мне запрещено открывать двери, если я нахожусь один в помещении. Я пошёл с крысой на плече в большую комнату, задёрнул шторы и включил телевизор. Шварценеггер металлическим весом топтал коридор мрачного подземелья, лоя в инфракрасный прицел бывшего полицейского, ставшего преступником. Там, за одиннадцатью метрами коридора от меня, всё ещё ненастойчиво стучали в дверь...

Стук оборвался. Крыс весело гоняла, хвост параллельно полу, вдоль стен пустой большой комнаты. Я сидел на королевского размера кровати, она у меня стояла в центре комнаты, и наблюдал за действиями уже обгоревшего металлического Шварца. Внезапно о стекло ударился, видимо, камень, а может, стреляли из пневматики. Нет, камешек... Ещё один. Я вздохнул и встал. Что-то происходило.

Я осторожно прошёл в свой кабинет (ничего особенного: стол, книжные полки) и не зажигая света чуть отодвинул штору. Посмотрел. В голых деревьях внизу стоял одинокий мужчина. Высокая лампа над подъездом позволяла увидеть, что это был немолодой мужчина в тёмной куртке и кепке. Поклонник моего литературного таланта? Сумасшедший, ищущий побеседовать с VIP-персоной на предмет спасения человечества? Отец нацбола, попавшего в тюрьму, пришедший переломать мне нос? Все варианты были для меня неприемлемы. Смущало меня и время действия. Было около полуночи, хотя ещё не полночь.

Набегавшись, Крыс нашла меня в тёмной комнате и вскарабкалась опять на любимое своё место, на моё плечо. Бросание камешков прекратилось. Пошёл дождь, стало слышно, как он стучит о жестяные подоконники...

Стук в дверь... С Крыс на плече я отправился к двери.

– Кто там, чего надо?

– Эдуард, я ваш родственник, извините за поздний час, можно войти?

Родственников у меня немного, но появляются. Дочь одной из моих двоюродных сестёр живёт в Магадане. Она ветеринарный врач. И даже лечила как-то собачку губернатора Цветкова, которого потом убили в Москве на Арбате.

– Назовите себя.

– Меня зовут Юрий. Я сын вашего отца.

Я открыл ему дверь, отпер два замка и задвижку отодвинул, продолжая осознавать, что он такое сказал. А сказал он ни много ни мало, что он мой брат. Между тем я вырос единственным ребенком в семье.

– Ради бога, извините, что я так вот, ночью. Но у меня завтра поезд. Он снял кепку и оказался лысым мужчиной, седая растительность сохранилась лишь над ушами и на затылке. Морщинистое белое лицо.

И тут я его идентифицировал: он был на вечеринке немецкого журнала. Стоял в сторонке и поглядывал на меня. Я, впрочем, привык, что меня разглядывают, на улицах даже бывает пальцем тычут, в бока друг друга толкают локтями: «смотри, вон кто идёт...».

– Вы откуда сами, Юрий, будете? Зачем выследили меня?

– Город Глазов, Удмуртия. Вам ничего город Глазов не говорит?

– Город Глазов мне говорит. Пойдёмте в мой кабинет.

Я включил верхний свет.

– Снимите вашу куртку. Садитесь.

Он снял джинсовую куртку со множеством пуговиц и прострочек, и заклёпок. Её, такую, можно носить и зимой. Такие любят провинциалы. Куртка у него была мокрая. Интересно, что дочь моей двоюродной сестры из Магадана также всегда одета в джинсу: пальто её с разводами и вшитыми камнями помню. Она посещала меня несколько раз, приезжая в Москву на конгресс ветеринаров. Он сел в кресло, доставшееся мне в наследство от одной политической организации. И стал улыбаться.

– У вас крыса, – сказал он.

– А как вы думали... Конечно, крыса, у такого как я. Так вы Вениаминович? – Я сел в другое, точно такое же кресло.

– Да. Юрий Вениаминович...

– Надо же!.. Я думал, это всего лишь семейная легенда, ревнивые фантазии моей юной матери. Фантазии о сопернице в марийской тайге.

– В удмуртской, – поправил он.

– Мать говорила «в марийской». Он там дезертиров ловил. С мандатом, лично подписанным Берией.

– Всё правильно, только в удмуртской тайге. Молодым лейтенантом.

– Мать рассказывала, что считала уже, что потеряла его. Что у него там другая семья была, в марийских снегах, в 1943-м. Тотчас после моего рождения.

– Да, это так всё и было, только в удмуртских снегах. Рассказать вам всё по порядку? А потом вы мне расскажете о нём...

– Рассказать... Может, хотите чаю?

– Нет, чаю не хочу. Ну вот, я значит вас на год младше, 1944 года рождения. И вашего года рождения, и моего, как вы знаете, очень мало в России родилось. Поколение не получилось, да и на полпоколения не наберётся, потому что подавляющее большинство мужчин находились тогда вдали от женщин, на фронтах. На фронтах женщины бывали, но в ограниченном количестве и такого характера женщины, что не для деторождения предназначены. Наш с вами отец, Вениамин Иванович, на фронты не попал вследствие счастливого для него стечения обстоятельств. Призвался он в 1937-м, попал в особый полк ОГПУ и буквально накануне войны остался служить на сверхсрочную службу. Когда началась война, то НКВД своих людей попусту не тратил, берегли их. Брат отца, младший, Юрий, в честь его меня и называли, был призван в дикой спешке. Их, не переодев даже, бросили на фронт под Псковом, там он и погиб, даже тела не собрали. Пропал без вести... Да вы, наверное, знаете все эти подробности биографии отца не хуже чем я!

– Знаю.

– Отец приехал в Глазов в 1943-м. Дезертирство было распространенным. Прятались в лесах, варили там свои каши, сбивались в банды и были опасны для местного населения. Мать говорит, он был очень красивый... А как на гитаре играл!..

– Сейчас под себя ходит. Мать таскала его в туалет, порвала себе позвоночник, теперь сажает в стул с дырой в сиденье, внизу ведро. Туда и ходит, прямо у постели. Вот что вытворяет время... – промычал я. Отцу восемьдесят шесть, и он уже год как не встаёт с постели. Он ничем не болен. Ему надоело жить, и только. Он собрался умирать.

– Я так и не решился к нему поехать, – сказал он. – Если честно признаться, то родственные чувства охватили меня сравнительно недавно. Пришли вместе со старостью. Так, видимо, современный человек устроен.

– Меня, после того как освободился из лагеря, в Украину не пустили в прошлом году. Задержали в КПП под названием Гоптівка, долго думали, что со мной делать. Наконец, ссылаясь на некие постановления их службы Безпеки, что есть эквивалент нашего ФСБ, запретили мне въезд в Украину до 25 липня 2008 года. Так что я отца в его нынешнем, жалком виде не видел, слава богу.

– Как зовут вашу маму?

– Софья. София.

– Это что, удмуртское имя?

– Да нет, нормальное, русское. Но она, да, удмуртка.

– Она жива?

– Жива. Живёт с нами, в моей семье. Она 1921 года рождения.

– Того же года, что и моя мать.

Мы помолчали.

– А братья и сёстры у вас есть, Юрий?

– Есть. Два сводных брата. У мамы от другого отца. Он уже умер.

Мы опять замолчали.

– Я читал ваши книги о вашей семье. «У нас была великая эпоха» и «Подростка» читал.

В «Великой эпохе» наш отец мне понравился. Прочёл я эти ваши книги сравнительно недавно. И маме давал читать.

– Ну и как она реагировала?

– Да сидела, молчала и улыбалась... Потом стала вспоминать, как он приехал зимой 1943 года в длиннополой шинели, худющий и молодой. Привезли его в санях красноармейцы, и среди вещей мама отметила гитару. Собственно, вещей и не было особых. Худенький вещмешок, полевая сумка, пистолет на поясе. У нас полдома пустые стояли, и его определили к нам, чтоб не в казарме со всеми. Следовательно всё-таки. Особист. С мандатом.

– Это был, я понял, частный дом ваших деда и бабки?

– Ну да, Глазов и сейчас город не большой, стотысячник, а шестьдесят лет назад и вовсе был сонным, провинциальным. Частные дома в основном. У деда был двухэтажный дом с кирпичным низом. Отца наверх определили в комнату моих дядёв, они тогда на фронте были все три. Одного уже убить успели. Вот отец там и расположился. Правда, вначале, мать рассказывала, он и ночевать не приходил. Ушёл с отрядом в тайгу. Через неделю вернулись. Стали дела на дезертиров оформлять. Тогда, правда, всё проще было. По законам военного времени дезертиры подлежали расстрелу. В ряде случаев следователи и судьями становились. Военная выездная коллегия или как там...

– Так отец следователем там работал? Или членом судебной тройки?

– Из того, что мама говорит, получается и то и то. Двойные обязанности исполнял. Точнее говоря, и тройные исполнял.

– Что вы имеете в виду?

– Людей было немного. Фронт обескровил страну. С дезертирами некогда было законность соблюдать. Ставили к стенке в старом молокозаводе. И в расход... Сами судили, сами приговор приводили в исполнение.

Мы помолчали.

– Так что, и отец ставил?

– Судя по вашим книгам, вас не должен смутить такой эпизод в биографии отца... Мать говорит, что да, он их стрелял... Мучился, правда, они же все его возраста, чуть моложе. Ему двадцать пять было. Светленькие такие парни. Удмурты же к угро-финнам принадлежат. Среди них много блондинов. Я вот тоже был, пока не поседел.

– Как мучился?...

– Ну что, не спал, засыпал, во сне стонал. Ходил по комнате.

– Вы считаете, что беленьких стрелять тяжелее, чем брюнетов?

– Да. Беленький как мальчик, мальчика напоминает, что-то такое. В мальчиков же нельзя... стрелять нельзя... Жалко...

– Можем ли мы его осуждать?

– Можем, думаю. Он замолчал... Только что толку, все эти сцены ведь в книге Неба навечно записаны. Там, где Зло, в той части Книги.

– Это что, Книга Неба? Традиционные удмуртские верования?

– Да. Инмар, Бог Неба, хранитель Книги Неба, время от времени перечитывает её. Листает.

– Вы что, в этом разбираетесь?

– Немного. Историю преподаю. В частном порядке интересуюсь традиционными удмуртскими верованиями. У нас сорок богов и божеств. Дед мой весь этот пантеон знал. А прадед и вовсе был «восясь», то есть главный жрец. Вениамин называл маму «шаманочкой». Потому, что она из рода, где были несколько «туно» и один «восясь». «Туно» – это знахарь, шаман.

– У вас с собой фотографии мамы нет?

Он покачал головой.

– Нет. Если бы знал, что вас встречу, захватил бы.

– А «шаманочка» чем в жизни занималась? И в тот день, когда Вениамин вылез из саней в длинной шинели, она кем была, что делала? Ей было двадцать два...

– Детей учила в начальной школе. После педагогического техникума учила детей.

– А как она выглядела?

– Косу носила одну, толстую и длинную белую косу. На всех фотографиях сразу замечаешь эту особенную косу. Красивая была. Блондинка, но ресницы густые, чёрные. Глаза – как лёд.

– У моей мамы тоже серые. И даже сейчас, у старухи, такие пронзительные, как у волчицы. Её в доме «волчицей» называют за глаза... соседи... Отец был бабником? Как вы думаете, Юрий?

– Вам виднее, я ведь его жизни не знаю. Я и родился без него, вне брака.

– К тому времени, когда я обрёл сознание, он, вроде, не проявлял уже своих, как бы сказать, «наклонностей», что ли. Но мать отчего-то страдала, я помню. Они по ночам иногда препирались. Не ругались, но она его отчитывала, а он односложно отвечал. Я, кстати, тоже вне брака родился, они только в 1951 году расписались в ЗАГСе.

– Видимо, был бабником. Две семьи в возрасте двадцати пяти лет не так уж обычно... Он же у нас целый год пробыл, с мамкой у всех на виду жил. Ей нелегко было. Он же чужой, приехал, наших по лесам ловил, судил и расстреливал. Там сцены бывали порой, душераздирающие, мать рассказывала. Однажды прибрела мать дезертира, откуда-то узнала, где он живёт, дождалась и к сапогам его бух... Заревела. «Пощади, родной, сына! Ты сам мальчик худенький, совсем мальчик, не казни моего мальчика...».

– А отец что?

– А что он мог сделать? Помиловать не мог. Ему и не позволили бы. Он и в тройке старшим не был. С ним капитан был из местного НКВД, старше по званию. Поднял её. «Уходите, говорит, а то, и вас арестуют».

– А мандат, подписанный Берией?

– Мандат значил много, но решала судьбу тройка. А судьба была в тот год одна – расстрел. К тому же тот «мальчик», за которого мать его к сапогам нашего отца падала, был взят в результате боя с дезертирами. Они обороняли свой схрон, стреляли. Какая уж тут пощада... За этот бой отец получил свой первый орден Красной Звезды...

– А есть второй орден? Я знаю только об одном.

– Есть второй. К концу года был награждён второй раз. Вот за что именно не скажу. Но тоже за борьбу с дезертирами наверняка. Потому что он ещё в Глазове находился, а никакой другой деятельности, кроме борьбы с дезертирами, он в Удмуртии не вёл.

– Значит, за второй схрон получил. Видимо...

Дождь стучал настырный, потому что была сильная оттепель, какие бывают в марте в Москве. Мы сидели, два седых человека, обсуждая деяния двадцатипятилетнего нашего отца, который обоим нам дал жизнь, заронив своё семя в двух разных женщин.

– Вы представляете, Юрий, тайга, тёмные деревья, снег, рассвета ещё нет. В предрассветных сумерках движутся цепью среди деревьев красноармейцы в длинных шинелях. Подбираются ближе к схрону. Из землянки чуть-чуть ещё идёт дым от вечерних дров, накануне вечером дезертиры сытно накормили печку, чтоб спать было тепло. Там они лежат, прикрывшись полушубками, белесые и конопатые крестьянские угро-финские парни. Темноволосых немного. Распарились в сырой духоте землянки. А цепь всё теснее смыкается вокруг землянки. Наконец наш отец, с пистолетом в руке, вместе с парой рослых красноармейцев вышибают дверь землянки своими телами. Врываются в сопящие тёплые сумерки. Навстречу им стреляют из обрезов. Красноармеец падает. Наш отец даже не ранен... Красноармейцы выволакивают дезертиров на снег. Дезертиры в исподнем. Кто в белом солдатском белье, кто в крестьянском. Руки заломаны... Руки подняты. Светает. Они стоят босые на снегу и дрожат все от холода. Представляете, Юрий?...

– У вас писательское сильное воображение. Мне даже стало холодно. – Юрий поёжился.

– Воображение тут ни при чём. Меня самого именно так арестовывали. В горах на Алтае – в снегу, в избушке. Нас было восемь человек в избушке. Был смутный рассвет. Жарко натоплено. Один из нас встал и вышел отлить. Сонный заметил стягивающуюся к избушке цепь стрелков, сводный отряд ФСБ. Вбежал, кричит, что там военных целый лес. Их-таки оказалось свыше семидесяти бойцов. Ворвались с дикими криками. Все кричали разное: «Лежать!», «К стене!», «Руки за головы!», «Лежать, суки!», «Встать, суки!» Ясно, что исполнить все их приказы сразу было невозможно. Мы остались лежать, кто где был. Потом нас стали выволакивать по одному. Босиком. Кто спал в носках, оказался в лучшем положении, потому что нас долго продержали на снегу, как мы были, босиком, и в исподнем с поднятыми руками. Потом позволили одеться и отвели в баню. Там мы ещё долго сидели, нас выводили допрашивать.

– Страшно было?

– Страшно. Мы поначалу решили, что это казахская национальная безопасность с той стороны границы. Думали, что они нас всех поубивают где-нибудь на краю ущелья. Медведи, волки и птицы довершат остальное. Но это оказались «наши». Ещё видео сняли, как мы стоим, выгнанные на снег, руки за головами, в исподнем, босиком. Для истории останется. Так что очень хорошо представляю, что чувствовали дезертиры, когда наш отец туда в их сонный схрон ввалился с красноармейцами.

– Получается, что вы в тот момент с отцом оказались как бы по разные стороны фронта? Отец наш был всегда на стороне государства... А вы побывали в шкуре дезертиров.

– Это всё так, но в Алтайских горах меня арестовали, чтобы обвинить в подготовке захвата и отделения от соседнего Казахстана Восточно-Казахстанской области. В попытке создания сепаратистского государства с последующей целью присоединения его к России. Таким образом, наш отец, если бы он был в сводном отряде ФСБ в то утро, не был бы на стороне России. В то время как в 1943-м он был на правильной стороне... В 2001-м я был на стороне России.

Мы замолчали.

– Может, вина хотите? Водки нет...

– Да я не пью вовсе.

– Что и на дни рождения не пьёте, и на Новый год? И не курите, наверное?

– И не курю. Когда выпил однажды две рюмки, болел потом.

– Вы как он. Не пил и не курил всю жизнь. Непьющие и некурящие чекисты, наверное, были самыми страшными. Этакие аскеты-Кашеи.

– Я не злой человек, – улыбнулся он. – А что, он так и не пьёт до сих пор?

– Какой пить, в лёжку лежит, сохся весь, мать говорит, голова сохлась, как старый орех. Еле говорит. Мать с ужасом призналась мне на той неделе по телефону, что адски устала, что ждёт, чтобы он умер. Что ей унизительно видеть его, когда-то красивого, обаятельного, беспомощно лежащего на полу, измазанного дерьмом... Это она, с которой вместе прожили шестьдесят два года, ждёт его смерти!

– С моей мамкой он прожил год, – сказал Юрий.

– Вот как печален, некрасив, и даже страшен конец таких вот героев, как наш батька. Интересно, что он о своих орденах Красной Звезды молчал, может, стеснялся, что они не на фронте получены.

– А почему у отца карьеры в армии не получилось? Насколько я знаю, он ведь проходил в старших лейтенантах чуть ли не лет двадцать. И только перед уходом из армии звание капитана получил, так ведь? Как так, ведь он же умница был...

– На эту тему отец никогда не высказывался, как и на многие другие темы. Я подозреваю, что он, пусть он и был младшим офицером, принадлежал к какой-то подавленной и расстрелянной чекистской группировке. Его оставили на свободе и живым только потому, что он был простой исполнитель. Знаете, Юрий, когда стали появляться машинные копии Солженицына, у меня, помню, состоялся с отцом разговор, году в 1968-м, по-моему, это случилось. Я приехал из Москвы, где провёл год, и стал ему выкладывать свои новоприобретённые знания о ГУЛАГе, о репрессиях 1930-х годов. Он мне вдруг сказал: «Я читал вашего Солженицына! Что он знает, он ничего не знает! Я видел такое, что страхи, которыми он страшит, – детский лепет... Вот если бы я написал...» И отец замолчал. Больше никогда я от него на эту тему ничего не слышал. Я думаю, он участвовал в жутких вещах, может быть, даже почернее, чем охота на дезертиров в удмуртской тайге и их ликвидация...

Мы замолчали. Словно нам потребовалась передышка, чтобы зарядить свои внутренние аккумуляторы. Наш общий отец нас с ним измотал. Сидели и молчали. Моя крыса внимательно слушала тишину с моего плеча.

– В «Подростке» у вас есть сцена, где вы...

– Давай на «ты», наверное, перейдём, брат. А то как-то странно мы стали звучать.

– Давай, брат. В «Подростке» есть сцена, где герой, ну то есть ты, едет встречать отца на вокзал и отыскивает его в тупике на задних путях. Где отец возглавляет конвоиров, загоняющих заключённых из вагон-зэка в автозаки. Это правда было или придумано?

– Правда было. В пятидесятые годы отец служил в конвойных войсках. Уезжал в далёкие командировки в Сибирь. От меня, впрочем, как и от соседей, скрывали, где он работает. Я случайно набрёл на эту сцену. До сих пор ярко помню. Зэков мне стало жалко мгновенно. Может, я предчувствовал, что однажды сам стану заключённым.

Он посмотрел на часы.

– Оставайтесь у меня. Переночуете. Метро давно закрыли, а такси в моей промзоне поймать непросто.

– Не могу, меня приятель в машине ждёт. Мы ведь за вами ехали.

– Так вы меня после презентации выследили?

– Да, – скромно потупился он.

– Недаром вы сын чекиста.

– Мы же уже на «ты». Ты тоже сын чекиста.

– А откуда ты узнал, что я буду на презентации?

– Есть такая сеть, интернет. Там написали, что среди других гостей ожидаешься ты.

Михаил мне показал сообщение. Мы поехали. Пройти было нетрудно.

– Михаил это твой приятель? Который в машине?

– Да, он сюда лет двадцать назад переехал. Из Глазова.

– Позови его. Чего он там сидит в темноте в машине.

– Да не стоит, мы уже поедem. У меня завтра рано поезд, – он встал.

– Ну как хотите, Юрий.

Я тоже встал.

Я дал ему свою свежеизготовленную простую визитную карточку, лаконично нёсшую на себе только имя-фамилию-номер мобильного телефона. Он, подойдя к моему письменному столу, записал мне номер его глазовского телефона. На столе сидела крыса. Он сказал ей, улыбувшись:

– До свиданья, Крыс!

Крыса поняла и пискнула. И поднялась на задние лапы в знак дружелюбия.

Юрий одел куртку. Мы пошли к дверям, я впереди. Я отпер все замки, и он переступил порог. Обернулся.

– Вы его любите, Эдуард?

– Люблю ли я моего отца? Я люблю моего отца, кого бы он там ни стрелял, да хоть гугенотов, будь он католик во время Варфоломеевской резни. Это же мой отец, юноша, который создал меня из любви к юной девушке. Вас он создал от любви к «шаманочке».

– Как ваша мама называла отца?

– «Веничка».

– Моя мама тоже называла его «Веничка».

Наш отец умер в самом конце марта. Через неделю после ночного визита ко мне брата... Юрий никогда не позвонил и не появился. Возможно, мой брат тоже умер. Все ведь умирают. Без исключения.

Девочка-бультерьерочка

Она потолстела. Когда я, оторвавшись от ликующей толпы, сел в старенький «Мерседес» адвоката, она уже сидела там. Нацболы бушевали за стёклами, довольные. Я, их лидер, дёшево отделался – оказался на свободе всего через два с половиной года. Мог отхватить пятнадцать. За стёклами «мерса» на ликующих нацболов обильно лил дождь.

– Ну что, ты со мной или не со мной? – спросил я, повернувшись к ней.

– С тобой, – сказала она ватным голосом. Я прижал её к себе. На ней была шляпка из бархата – такие бывают на незамысловатых куклах. Подбородок у неё округлился. Румянец со щёк исчез, но щёки были полными. И переходили в полную шею. Когда меня посадили, ей было восемнадцать. Сидящей со мной в «мерсе» был двадцать один. Старая.

И мы стали жить. Вначале несколько суток провели на надувной постели редактора газеты «Лимонка», где-то в Кунцеве. Далее перебрались в буржуазную квартиру известного политолога-аналитика на Космодамианской набережной. Там наличествовали две спальни, холл с зеркальной стеной, два санузла, телекамера, наблюдающая входную дверь и лифт, и многие другие прелести, включая контрастный душ и отличную библиотеку. Ей там понравилась. «Прикольно!» – сказала она. Она было привезла туда своего ужасного, белую свинью, бультерьера, но даже очень гостеприимный хозяин, однажды появившись, заворчал, и бультерьер был возвращён в квартиру её родителей, где она проживала последние годы, пока меня жевало правосудие. О бультерьере потом, вначале о ней, бультерьерочке.

Она всегда была такой себе девочкой с окраины, злой и немного нелепой. Маленького роста, блондинка, с пристрастием к проклятым российским панк-типажам, ну знаете, мёртвенькая Янка Дягилева, ещё живой тогда, но крепко качавшийся Егорушка Летов... Позднее её бросило к Мэрлину Мэнсону. Перед самым моим арестом в нашей квартире, в прихожей, она, помню, повесила бесовский портрет его с разными глазами. Когда приходившие ко мне политики (один раз был даже министр КГБ Приднестровской республики) удивленно таращили глаза на безумный портрет, я обычно считал нужным отмежеваться от него. «О, знаете, это моя дочь повесила! У подростков нынче странные вкусы!». Политики разглаживали лица. Понимающе улыбались...

У нас с ней была разница в тридцать девять лет. Когда мы познакомились, ей было шестнадцать, а мне уже пятьдесят пять. Однако на самом деле нас разделяло не такое уж большое расстояние. Общество несправедливо к таким парам, какой были мы с ней. На самом деле между нами лежало совсем небольшое количество биологических лет, которые не соответствуют никогда календарным. Она была маленькая женщина по всем её повадкам, с оборотистым, порой злобным, порой ангельским личиком, со взрывным характером. Однажды она полоснула меня по руке лезвием, которым до этого уютненько вырезала из журналов коллажи, сидя в уголке, за столиком, под лампой. За что-то обиделась, вскочила и полоснула. И снова уселась в уголок, вся домашняя, в носочках... Своих сверстников она презирала, себя высоко ценила, и когда мы столкнулись в жизни, она, видимо, решила, что я её достоин. Что там в точности думала эта маленькая бестия, я не могу знать, но до тюрьмы мы с ней отлично ладили, она порой поучала меня, и жили мы в общем весело. Тогда я ещё не считался государством настолько опасным, чтобы преследовать меня круглосуточно, потому мы часто нарушали правила безопасности, выходили ночью в близлежащий двадцатичетырёхчасовой магазин на углу Гагаринского, я покупал себе пиво, а ей – мороженое, и мы бродили, обнявшись, по арбатским переулкам, я тогда жил у театра Вахтангова. Оглядываясь назад, я вижу, что был тогда очень счастливым человеком, думаю, подавляющее большинство мужчин планеты могли бы мне позавидовать. Ведь я, когда хотел, задираю ей юбчонку, этой малышке...

Но вернусь-ка я к хронологии событий и стану излагать мою жизнь с ней после тюрьмы. В конце августа того же года я поселился в Сырах, в промзоне между Курским вокзалом и речкой Яузой, вблизи завода «Манометр». Место было тогда пустынное и пейзажно напоминало российский рабочий городок образца, скажем, 1953 года, скажем, сразу после смерти Сталина. Дом, в котором я поселился, был построен в 1924 году для рабочих завода «Манометр», потолки были высокие, комнаты большие, всего в квартире насчитывалось шестьдесят два квадратных метра. Второй этаж. Тенистый двор, детская и баскетбольная площадки бок о бок. Прямо оазис в разрушающейся промзоне. Квартира была, правда, что называется, «убитая». И очень.

Вначале я с энтузиазмом пытался изменить квартиру. В кухне висел расквашенный утечками воды сверху пятнистый потолок, и он раздражал особенно. Мои охранники собрались по моему зову и мы как могли сбили этот ужасный потолок, побелили кухню. Михаил выкрасил в чёрный цвет старую ванну на львиных лапах (ванна стояла в кухне! в 1924 году рабочие ходили в бани, потому ваннные комнаты не были предусмотрены), сделал чёрной вентиляционную трубу под потолком кухни и дверцы встроенного под подоконником шкафа (холодильник образца 1924 года!). Мы сорвали несколько рядов проводов в коридоре, служивших бельевыми верёвками многодетной семье хозяйки, разобрали убогую антресоль над входной дверью. Туалет с ужасным ржавым бачком трогать не стали. Бедный вульгарный линолеум в цветочках покрывал пол коридора. Мы пока оставили его в покое. Две вместительные комнаты имели щелястые деревянные полы, крашенные красным. Из меньшей я сделал себе кабинет, в большую поставил купленную за пятьсот рублей двухметровой ширины кровать. Ровно посередине. Выглядела комната таинственно.

Бультерьерочка приехала с бультерьером.

Ей не понравилась квартира. Она предпочитала ту квартиру, куда нас пустил политолог. А мне не понравился бультерьер. Белый, с красными глазами, похожий на мускулистую свинью. Молчаливый, он всегда норовил встать у меня сзади. И молчал там, чего-то выжидая. Когда существо с могучими клыками стоит за твоей спиной, ты невольно начинаешь испытывать опасения за свою жизнь.

Надо сказать, что у неё уже были бультерьеры. Когда ты метр с кепкой ростом, белокожая блондиночка, живёшь в спальном районе, то, видимо, такой хочется укрепить себя в жизни подпоркой. У неё был брат, на четыре года старше, но от него подпорки и безопасности было мало, никакой, он быстро стал компьютерным программистом, при этом всё время терял девушек и переживал по этому поводу трагедии. С семьёй в целом она также плохо ладила. Отец её был часовщик, и очень неплохой, он одним из первых в девяностые годы стал мелким бизнесменом: открыл свою палатку и стал починять гражданам часы. Быстро научил своему ремеслу молодого подмастерья, открыл ещё одну палатку и посадил туда подмастерья. Её отцу умилялись бы Гайдар и Немцов, Хакамада бы в нём души не чаяла. До тех пор пока не узнала бы, что её отец был, к сожалению, запойный пьяница, и когда запивал, то поил весь квартал в своём спальном районе. Никакого накопления капитала, таким образом, не происходило и происходить не могло. Отец не успокаивался, пока не пропивал всё заработанное, в доме не было еды, и мать с трудом отстаивала простыни и одеяла. Мать у неё работала на овощной базе не то инспектором, не то контролёром. Семья жила в ритме запоев отца, и такая семья не могла её защитить, хрупкую, белокожую и маленькую. Потому она обратилась к бойцовским собакам и предпочитала бультерьеров. А потом она обратилась ко мне.

Когда мы познакомились, у неё уже был один, точнее, одна бракованная самочка. Я уже с трудом вспоминаю, что именно у неё было бракованное, то ли окрас не тот, то ли сосцов было больше, чем нужно, или меньше, чем нужно. А может быть, самочка была не совсем «буль». На

заре нашей любви она приезжала ко мне несколько раз с этой первой «булькой», и помню, что несколько раз мы спали все трое на полу в моей «жилой» комнате, она же кухня и гостиная...

Как бы там ни было, тюрьма была позади, лагерь позади, верная, но повзрослевшая подруга явилась жить со мною в «убитую» квартиру в Сырах. Довольно долго ещё она продолжала привозить из квартиры родителей (я давал машину) наши с ней дотюремные вещи. Большая часть вещей пропала, в том числе и многие мои книги, но часть сохранилась... Ах да, я позабыл сообщить, что в появлении последнего по времени её бультерьера в квартире в Сырах был повинен именно я. Когда в апреле она пришла ко мне на свидание в Саратовскую центральную тюрьму, она через стекло попросила разрешения завести собаку.

– Какую собаку ты хочешь? – спросил я.

– «Буля», – сказала она и вздрогнула ресничками.

Я ей разрешил. И даже дал будущей собаке имя: Шмон, что по-тюремному значит «обыск». Потому что прокурор как раз тогда запросил мне срок: четырнадцать лет строгого режима, и я предполагал, что, прежде чем я выйду на свободу, бультерьер успеет прожить всю свою жизнь бойцовой собаки и благополучно отойдёт в мир иной. Либо я не выйду из-за решётки – человек моего возраста рискует при таком сроке, что его вынесут ногами вперёд... А случилось всё иначе. Судья счёл недоказанными обвинения по трём статьям и приговорил меня к четырём годам, а уже через полгода я вышел на свободу условно-досрочно, так как больше половины срока отсидел уже в тюрьмах. И мы встретились. Бело-розовый, тугой, как мешок с песком, мускулистая свинья с мощными клыками, и я. И стали игнорировать друг друга.

Я определил ему место в нише в длинном коридоре. Мы положили туда несколько диванных подушек, оставшихся после предыдущих жильцов, и он там подрёмывал, когда не бродил молча, топоча твёрдыми ногами по квартире. Судя по всему, у него был не злой, но тупой и медленный разум боевого животного, опасный уже тем, что был медленным. Медленность эта не оставляла никакой надежды на то, что, однажды сомкнув челюсти на твоём горле, он разомкнёт их. Он никогда не лаял, несмотря на то, что за стеной, в соседней квартире, жила и изнуряюще тявкала мелкая скверная чёрная собачонка. Он как бы даже и не слышал её истерик (а она отвечала лаем на малейший шум в подъезде, на лестнице и на улице; она лаяла даже на поезда вдаль на эстакаде, ведущей к Курскому вокзалу!), из чего я сделал умозаключение, что он не понимает её собачьего языка совсем. У него был другой язык. Если его что-то беспокоило, он издавал хриплый внутренний гул, храп такой, как правило, короткий, как внезапно закипевшая кастрюля.

В первую же ночь он полез к нам в постель. Потому что она приучила его щенком, пока я сидел в неволе, спать у нее в ногах. «Шмон! На место! – сквозь сон вскрикнула она. – На место!». Результата не последовало. Вонючее животное влезло на нас и стало бесцеремонно расхаживать по нашим телам, разрывая простыни когтистыми когтями. Ей пришлось встать и вывести его. С тех пор мы закрывали ярко-синюю дверь на задвижку. Однако он еще долго стучал ногами твёрдой башкой в дверь, пока не привык к новому порядку.

А новый порядок вынужденно всё равно был организован вокруг него. Она вставала утром, зевая, и полусонная, напялив одежду, уходила тотчас на улицу, выводила его отлить. Возвратившись, она начинала готовить ему еду. Варила перловку, а в перловку мелко резала печень либо мясо. Перловку она заботливо охлаждала, а он в это время нетерпеливо бил жёстким хвостом по полу и стульям. Понаблюдав за всем этим с месяц, я вдруг понял, что попал в добровольное рабство какое-то. Что за пухлую белую попу, маленькие ступни и ляжки, за синие глаза пупса я вынужден делить территорию с молчаливым солдафоном, звучно воняющим после поеденной перловки. Более того, когда он зевал, обнажая клыки убийцы, я думал, что однажды он, пожалуй, сомкнёт эти клыки вокруг моей шеи либо легко отгрызёт мне руку – своими аристократическими точёными запястьями я всегда гордился.

Она стала часто обижаться на меня за всяческие мои, как она, видимо, считала, придирки к ней. Ну, скажем, я пенял ей на то, что она, обладая несомненным литературным даром, ничего не написала за те годы, которые я провёл в тюрьме, и даже не привела в порядок тексты под общим названием «Девочка-бультерьерочка», которые у неё уже были написаны, когда мы познакомились.

– Ты ленива, так ты ничего не добьёшься в жизни! – восклицал я.

– Я работала! – зло вскрикивала она. – Мне пришлось нелегко!

Она, действительно, продавала мороженое, а потом трудилась в зоомагазине, пока я сидел. Чудаковатая девочка, однажды она в конце рабочего дня раздала бесплатно оставшееся мороженое детям и старушкам. («Оно всё равно таяло!» – пояснила она мне, рассказывая эту историю.) За что её с треском и скандалом выгнали, удержав стоимость розданного мороженого при расчёте. С зоомагазином у неё тоже не сложились отношения. Она встала на сторону зверей, и хозяин её уволил.

– Не оправдывайся! Всегда можно выкроить несколько часов на творчество. Я вон даже в тюрьме писал... Вместо того чтобы прогуливать этого вонючего солдафона, ты могла написать книгу. Ты убиваешь своё время!

Она рычала в ответ. Будучи по природе своей девочкой аутичной, она рычала, как её любимые животные. Разъярённая, она пристёгивала мускулистую свинью к поводку и убегала. Ехала в спальный район к матери. Впрочем, мои нарекания оказались не напрасными. Видимо, возненавидев меня, она всё же стала злобно работать над текстом «Настроение злости». Впоследствии мне удалось напечатать его у издателя Бориса Бергера, вместе с последней пьесой покойной Наташи Медведевой. Когда вышла книга, мы давно уже не жили вместе.

Помню первый мой Новый год на свободе. Шмон, слава богу, остался у её родителей, а она приехала ко мне, хотя предшествующую Новому году пару недель прожила там же, в очередной раз обидевшись на меня. Помимо моих обвинений в лени, я ещё предъявлял ей обвинения в бесчувственности. Объясню позже. Сейчас – Новый год.

Мои охранники в тот год подрабатывали на ёлочном базаре. Они привезли мне связку разрозненных еловых лап, и с их помощью я соорудил неслабую ёлку. Моя ёлка выглядела даже убедительнее, чем иные цельные деревья её породы, гуще и благороднее. Я повесил на моё сооружение сплошь красные шары и опутал ветви лампочками. В большой комнате, сдвинув кровать для такого случая в угол, установил ёлку, рядом стол и накрыл его на две персоны.

За окном лежал снег и стояла вторая ёлка. Дело в том, что жители нашего единственного в призрачной промзоне жилого дома установили на детской площадке, в центре её, свою ёлку. Эти жители, видимо, были неленивые и предприимчивые люди, жаль, что мне не пришлось познакомиться с ними поближе, пусть они поймут, что это не из высокомерия я с ними не сближался, но из необходимости обеспечения безопасности.

Итак: снег, в «убитой» квартире прохладно, но уютно. Ёлка, лампочки мигают, красные шары и на ёлке висят, и под потолком. (Там были оставлены зачем-то предшествующими жильцами в потолке крюки и стальные нити.) Пахнет свечами, потому что мы зажгли свечи с моей крошкой. Сидим, праздничные, она беленькая, в чёрном бархатном платье, я ей когда-то купил. Ждём полуночи, включили телевизор, чтобы под двенадцатый удар... нет, не выпить сразу шампанского, оно на столе уже налито, в блистательные узкие фужеры; но чтобы вначале каждый взорвал свою петарду с конфетти. Это была её выдумка, с петардами, не моя. Путин, жёлтый лицом, в реглане, вещает, стоя у кремлёвской церкви, затем часы показывают на Спасской башне. Мы встаём с крошкой: девять, десять, одиннадцать ударов! Рвём с двенадцатым ударом за нитки наших петард. Моя взрывается, обрызгав нас разноцветными кусочками бумаги и оглушив. Её не взрывается, сколько она её ни теребит. Я забираю её петарду в свои руки, пытаюсь понять, что можно сделать. Но не взрывается и у меня её петарда. И нитка обрывается.

Она расстроена. Личико искривилось.

– Не будет мне счастья в этом году!

Мы пьём шампанское, у нас в тарелках уж не помню что, но праздничная еда (как бы не авокадо с креветками из кулинарии, запахом именно этим тянет из прошлого...), однако настроение у неё испорчено.

– Мне не будет счастья в этом году! Почему, почему я не взяла твою петарду!

– Ты считаешь, что мне счастье не необходимо?

– У тебя и так всё есть, – бурчит она.

В утешение ей мы сжигаем целую связку бенгальских огней. Комната наполняется сизым дымом.

– Это ты виноват! Ты нарочно подсунул мне бракованную, а себе взял хорошую... – ноет она.

Недолго пробыли за столом. Обыкновенно она много не пьет, но в ту новогоднюю ночь выпила изрядно. Ложимся в постель.

– Как хорошо, что нет Шмона! – воскликнул я на свою беду.

– Что тебе сделал бедный Шмон?! – огрызается она. – Он тихо сидит здесь в коридоре на своей подстилочке и никого не трогает. Там ему, кстати, дуется, в коридоре...

Я не спорю с ней. Я задираю ей ночную рубашку и влезая на девочку.

– Ну! – фыркает она. – Чего?! Я спать хочу!

Я пытаюсь её целовать, но она отворачивает лицо и сжимает зубы.

– Маленькая дрянь! – говорю я.

– Утром, утром, – шепчет она и засыпает.

Утром сцена повторяется. Злой, я ругаюсь с ней.

– Ты окаменела, пока меня гноили за решёткой! Ты ничего не чувствуешь!

– Я ни с кем, ни с кем, – фыркает она и рычит.

То-то и оно, что ни с кем, вот и окаменела вся, думаю я зло. За эти годы без меня её аутизм прогрессировал, она законсервировалась. Проблематично это утверждать, но, возможно, лучше было бы, чтобы она не была мне так уж верна в мои тюремные годы, зато сейчас бы я счастливо лежал с маленькой беленькой любовницей, а не с куском тёплого гипса.

Вновь лезу на неё, раздвигаю ноги. Она начинает смеяться, как дурочка. «Ха-ха-ха-хи-хи!».

– Что ты смеёшься, как дурочка?

– Над тобой. У тебя не получается... Ха-ха-ха!

– Перестань смеяться, как идиотка! Толстая стала какая! (Я держу её в это время за попу.)

– Ничего не толстая, сам толстый!

Рассерженная, она вскакивает. На ней ночная рубашка, подаренная когда-то моей мамой. Я вспоминаю, как до ареста, когда мы прожили с ней зиму в Красноярске, она носила там эту ночнушку. Умилительно...

Она уехала. И долго-долго не возвращалась. С месяц, наверное. Я несколько раз звонил ей и ругался с ней. Она перестала подходить к домашнему телефону, а свой мобильный она почти всегда держала выключенным и до этого. Зачем девушке-аутистке – действительно, зачем – включать мобильный телефон? Я не то чтобы обрывал её домашний, но время от времени бесился от одиночества и пытался найти её. Однажды ответила её мать. Мы с матерью были знакомы. Когда в 1998-м отец выгнал девочку из дома и она явилась ко мне с рюкзаком, большим, чем она сама, и стала жить у меня, то через несколько недель ко мне пришла её мать. Её мать немедленно сумела понять меня (!!!) и успокоилась. Я даже накормил её, если я правильно всё помню, и мы выпили. Мать её произвела на меня очень позитивное впечатление.

– Её нет, – сказала мать, вздохнув. – Нет её, Эдуард. Как вы после тюрьмы?

– Я нормально. Слушайте (я назвал её по имени-отчеству), а у неё не появился там парень?

Её мать опять вздохнула.

– Этого уж я не могу знать, Эдуард. С её характером, какой должен быть парень... Это только вы умеете с ней общий язык находить...

– Умел, – сказал я.

– А что такое?

– Вышла из подчинения.

Её мать вздохнула.

– Что вы вздыхаете всё? С ней всё в порядке?

– Утром было всё в порядке, когда в институт поехала. Я вздыхаю из-за папули нашего.

– Запил?

– Угу.

Я оставил её мать в её ситуации, так как всё равно ничем не мог ей помочь.

Через несколько дней моя подруга вернулась, как ни в чём не бывало. С солдафоном на поводке. Потянулись рутинные утра: приготовление перловки, сырое мясо режется в перловку, перловка остывает, биение хвостом о ножки стульев и стола, сжирание в мгновение ока мяса и перловки красноглазой свиньёй.

Поскольку память моя доверху набита всяческими человеческими мудростями, я, поднажившись, выхватил из памяти нужную. «В этой жизни, плывущей, как сон, – вспомнил я строки из “Хакагурэ”, – жить неудобно и мучиться есть величайшая глупость». Величайшая глупость, повторил я, проходя по коридору мимо лежащего на спине сукиного сына. Он в это время ёрзал задницей по подушке, выставляя напоказ внушительный член. Фу, какая мерзость! И хотя это было только животное, весом всего килограмм тридцать, мне было неприятно, что в моей квартире выставлена его физиология. Я помню, что так и думал, дословно: «мне неприятно». Что возмёшь с животного, однако он там корячился, ёрзая задницей и позвоночником о диванные старые подушки, и это вызывало во мне протест. Вызывало протест, что он валяется на моей территории со своим членом.

Мы в постели. Глаза пупса, пухленький животик, сиськи с розовыми сосками... Тржусь над ней. Ничего не чувствует, отворачивает лицо от поцелуев.

Злой, как полсотни дьяволов, вскакиваю, рву на себя синюю дверь, пробегаю мимо мускулистой свиньи (он сполз с подушек и валяется, перегородив коридор, один красный глаз открылся и проследил за мной), прибегаю на кухню и наливаю себе портвейна. Выпиваю залпом. Возвращаюсь. Она дремлет. Один глаз открылся, оглядел меня и захлопнулся...

Я пришёл к выводу, что она засохла. Я сказал ей утром, что она стала бесполой. Она обиделась и уехала с солдафоном на поводке. Признаюсь, я был даже счастлив, что с меня сняли это иго.

То, что время идёт, мне было заметно по детской площадке под моим окном. За тот год, что я ссорился и мирился в Сырах с бультерьерочкой, тощие девочки-подростки вдруг превратились в грудастых невест. Моя «невеста» некоторое время ещё появлялась. Но всё реже. Правда, в последний свой приезд бультерьерочка задержалась у меня более чем на месяц, удивительное дело! Кончилась такая стабильность финальным взрывом. Вот как это было. Между нами тремя (я, она и Шмон) произошла следующая сцена.

Я вернулся однажды довольно поздно, в крепком подпитии. Охранники доставили меня в квартиру и, что называется, «откланялись». Она смотрела, валяясь в постели одетая, телевизор. Я сел на край кровати и стал тоже смотреть телевизор. Вдруг из коридора (дверь осталась открытой) явился Шмон, как-то скромно подошёл ко мне сбоку и – о, невероятно! – положил мне свою тяжёлую твердую башку на колени. Молча.

– А! – воскликнул я. – Ты признаёшь себя моим вассалом, Шмон!

Он вздохнул. А я погладил его твёрдую лысую башку. И он в ответ облегчённо хрюкнул. Он не выдержал напряжения. Он признал меня хозяином. По всей вероятности, он наслушался наших с ней разговоров, в которых мой голос звучал громче и настойчивее. По громкости и энергии моего голоса и по уверенности движений он догадался, что я господин его хозяйки. И, следовательно, его господин. Он поступил разумно. Пусть я и упрекал его в медленности его звериного разума.

Девочка-бультерьерочка с ужасом смотрела на нас.

– Видишь? – сказал я ей. – Захочу, уведу у тебя собаку!

На следующий день она уехала, забрав Шмона. Я не присутствовал, меня не было на месте. Уехала и больше не возвратилась. Такой обиды она стерпеть не смогла. Следующий Новый год я встретил с охранниками, без неё. Где была она, не знаю.

Я потом думал: петарда в Новый год виновата? Не петарда? Не взорвалась ведь её петарда с двенадцатым ударом часов...

Или попросту кончилось наше с нею время?

Так я и не решил до сих пор. Если в магическом измерении рассматривать, то петарда. Там ведь, в магическом, всё за всё зацеплено. Мелкие происшествия вызывают трагические, необратимые последствия. Там пуговиц нельзя, не дай бог, терять, не то что петарда не взорвалась...

А ПОТОМ...

А потом... Когда бультерьерочка удалилась, я стал себе жить тихо. Моя политическая жизнь в это время вся сотрясалась от энергии, мы нашли курс (и какой курс! об этом далее), моя личная жизнь была более чем скромна.

Вспоминая даже всю разом мою жизнь в Сырах, а не только этот период первого года после тюрьмы, а это целых пять лет, эпоха, можно сказать, я понимаю на дистанции, что в основном это была одинокая жизнь. Что подавляющее большинство дней я прожил один. Несмотря на то, что в эту эпоху целиком поместились несколько недолгих моих романов, моя любовь с актрисой и рождение двух детей. И всё равно, лейтмотивом жизни в Сырах звучит пронзительный, то печальный, то ликующий, мотив одиночества.

Когда не было женщин, я спал в кабинете, на узкой деревянной постели. Многослойный бутерброд постели венчал старый, порванный и лопнувший матрасик. Я лишь покрыл его красным покрывалом, купленным в народном магазине «Фамилия», а сверху положил галлюцинаторный старый плед, оставленный прежним жильцом Котоминым. Там я и спал, в белый старый пододеяльник вставлено было верблюжье одеяло, присланное мне моей матерью когда-то из Харькова. Теперь таких одеял не делают и не продают. Бело-кирпичное. На одеяле были вытканы в двух этих туркменских цветах аисты. Четыре аиста, по одному на угол. Одеяло это есть у меня до сих пор, а вот мать моя умерла.

Спал я, как правило, плохо. Просыпался ночами, бродил по красным полам двух комнат, появлялся в кухне сделать чай, чем вызывал восторг Крыс, она оставляла сон и повисала на клетке, готовая ко всем приключениям. Когда у меня появился позднее компьютер, я стал усаживаться ночами к компьютеру, пытался выудить из него интересные факты, либо ночные новости. Когда достаточно рассветало, но Сыры за окнами были ещё преисполнены сонного молчания, я ложился спать под моих аистов в белом пододеяльнике. И вставал уже где-нибудь в девять утра. Именно там, в Сырах, я открыл для себя удовольствие засыпать на рассвете.

Мебель я не любил всегда. Шкафы и диваны и особенно мрачное сооружение, называемое в России французским словом «шифоньер», вызывают у меня ужас. Переселившись в Сыры, я всё же оказался в голем пространстве. По совету нацбола Сашки Аронова (он пришёл делать мне проводку и принёс, и оставил каталог магазина ИКЕА) я собрал экспедицию в этот магазин. «Вся молодёжь, все продвинутые люди покупают себе интерьеры в ИКЕА», – заверил меня Сашка, да и каталог меня убедил. ИКЕА оказалась объектом не близким, мы пробивались туда на красной «пятёрке» сквозь пробки часа два. Сооружение, начинённое страннейшей и простейшей мебелью и квартирной утварью, меня задело за живое. ИКЕА мне понравилась безоговорочно, особенно простейшая мебель из некрашеной сосны. Я почувствовал себя полевым командиром, собирающимся обставить свой блиндаж. Приобрёл я там лишь самое необходимое. Самыми необходимыми мне предметами для жизни оказались книжные полки, стол кухонный (80 сантиметров на 80 сантиметров), стол для работы (80 сантиметров на 120), пара деревянных стульев для кухни и два офисных стула. На этом мебелировка квартиры закончилась. (Через пару лет в наследство от одной обанкротившейся политической организации мне достались пара кресел и столы). Бывавшие у меня в Сырах гости восторгались аскетизмом квартиры, на самом деле я всего лишь не выношу мебель.

Квартира, оттого что с 1924 года там жили бедные люди, затхло воняла бедностью. Летом запах трагически усиливался, зимою квартира воняла скромнее. Я полагаю, что запах не исчез бы даже после капитального ремонта, ибо его источали кирпичи и потолки, и полы, запах вьелся в них.

Вставая, я напрочь отдергивал нехитрые шторы, оставшиеся от прежних владельцев. И оставлял окна незашторенными до самых сумерек. Небольшая площадь прямо под моими

окнами вмещала детскую площадку, окрашенную в яркие детские цвета, а также множество довольно высоких тенистых деревьев. Из-за деревьев этих, к моей досаде, в квартире было всегда несколько сумрачно. Впрочем зимой, без листьев, деревья были не так опасны. Я делал себе кофе, на кухне. Пытаясь не обращать внимания на мою крысу: она в это время неистовствовала, сотрясая свою тюрьму. Я совал ей сквозь прутья какую-либо пищу и убегал с кофе в кабинет. Я намеревался приняться за свой old business, за моё писательство, а Крыс – ей бы только вырваться, бегать и отвлекать меня. Иногда ей, впрочем, удавалось, этой бестии, оказать на меня столь сильное психологическое давление, что я выпускал её утром. Она, например, начинала со страшным скрежетом грызть железные прутья клетки, и мне становилось жалко её зубов.

Усевшись за стол в кабинете, я зевал, пил кофе и втягивал себя в работу. В те годы я писал до десятка текстов в месяц, четыре политических текста для сайтов, два для гляцевых журналов, два для англоязычного Exile по-английски, плюс всегда образовывалась незапланированная работа.

На детской площадке появлялись дети. Каждый год они подрастали, однажды я с трудом узнал в куривших сигареты на скамейке трёх здоровых девках, подростков – девочек прошлой весны. Волей-неволей я наблюдал за карабкающейся по лестницам, качающейся на карусели детской ордой. У меня были среди детей фавориты, и были особи, которых я недолюбливал.

Кроме детей на площадку всегда норовили вторгнуться, и вторгались, взрослые. Эти обыкновенно пили пиво, а несколько раз происходила на детской площадке и повальная пьянка. Это когда ремонтировавший только что купленную квартиру пожилой мужик, мой сосед слева, вдруг напоил бригаду украинских гастарбайтеров из десятка человек. Пили они у меня под окнами несколько суток. Я в эти сутки отлично понял американских старичков с винчестерами, в подобных ситуациях у них не выдерживали нервы.

Иной раз летом, иногда осенью, на цветных лавках детской площадки ночевали неспокойные бомжи на газетах, и тогда мне приходилось закрывать наглухо мои многострадальные искорёженные временем форточки. Но и это не помогало. Ночью бомжи бредили и кричали во сне и наяву.

Когда года через два после моего переезда в Сыры район стал оживать, на детскую площадку стали высыпать из офисов секретарши и другие мелкие служащие. Держа на коленях и в руках бумажные тарелки, девки всех мастей дружно чавкали свой lunch. О, я там насмотрелся на эту публику из отремонтированных под офисы домов! Офисный планктон состоял из особого рода девок и особого сорта молодых людей: безгрудых долгоносиков с огромными ладонями. То есть сама собой вывелась порода мальчиков, обслуживающих компьютеры. Грудь была им не нужна, нужны были кисти рук. Их шеи выносили их головы вперед так, чтобы придвинуть головы к компьютеру, отсюда возникало впечатление, что они долгоносики.

С повышением количества отремонтированных офисов (завод «Манометр», конечно, уже давно не выпускал никаких манометров, да и зачем?) увеличилось количество автомобилей в Сырах. Арендуя помещения своих цехов под офисы, завод стал наверняка выручать больше денег, чем если бы он производил манометры от рассвета до заката. Зато в Сырах не стало свободной площади на улицах. Бампер к бамперу стояли тачки всех мировых марок. Выехать из Нижней Сыромятнической теперь занимало добрые полчаса. Два туннеля вели in и out наших Сыров с Большой Сыромятнической улицы.

Один туннель был, правда, специализирован, там лежали рельсы трамвая № 24, что сближало меня с моим детством. Ведь по Салтовскому посёлку на окраине Харькова ходил трамвай № 24. По эстакадам над туннелями всю сновали во всех направлениях поезда Курского вокзала. Ночами и сырыми утрами поезда гудели страшными голосами и пахли углём, угольным паром, хотя были электровозами, а никакими не паровозами, разумеется. Но ей-богу, пахли! Обогревали ведь их по-старому, углем.

Городок в огромном городе, – жили Сыры своей жизнью. Вряд ли у них был ещё наблюдатель, помимо меня.

А потом ко мне пришёл Ален в афганской шапке. Открыв ему дверь, я расхохотался. Потому что более странно выглядевшего американского журналиста я никогда не встречал. Афганская шапка ещё чёрт с ней, хотя, конечно, в Москве афганские шапки носят, может быть, ну ещё пять человек, допустим! Афганцы, торгующие на Черкизовском рынке. Помимо экзотической шапки на Алене было рыжее пальто, вполне, видимо, европейского происхождения. Однако пальто Ален носил как халат, затянув его немыслимым русским ремешком. Мягкое бесформенное пальто и служило Алenu халатом. В руке у него был полусундук-полупортфель такой, настежь открытый. И Ален помахивал небрежно своим сундуком. Сундук выглядел так, будто из него уже вывалились половина содержавшихся в нём вещей, и вот-вот будут на глазах у меня вываливаться остальные.

– В первый раз вижу американского журналиста, выглядящего таким экстравагантным образом, – сказал я.

На самом деле Ален мне сразу понравился.

– Что удивительного? – смутился Ален. – Афганский шапка, и только.

Он пришёл интервьюировать меня по внутренней политике России. Но мы быстро свернули в Афганистан. В Афгане я не был. Но я был в Таджикистане и на границе с Афганом был. Видел, как горит Мазари-Шариф, родной город Гульбедин Хекматияра. Это был 1997 год, талибы штурмовали Мазари-Шариф. Я знаю Среднюю Азию, побывал в четырёх её странах и знаю персонажей афганской политики. Мы в неё и влезли. Он знал Ахмад Шах Масуда. Я попросил деталей. Ахмад Шах Масуд, французски образованный полевой командир был, может быть, самым экзотическим героем Афганистана, хотя соперниками его были в те годы люди не слабые: узбекский генерал Дустум, вождь талибов одноглазый мулла Омар, или тот же Гульбедин Хекматияр. Французски образованным Масуда я назвал потому, что он учился в Кабуле во французском лицее, выучил язык и получил такие хорошие отметки, что выиграл, как сейчас говорят, «грант» для учёбы в колледже во Франции. Но он не захотел туда ехать, он стал членом Мусульманской юношеской организации. С этого и началась его карьера романтического полевого командира. Убили его позировавшие под арабских тележурналистов наёмники: двое. У них были бельгийские паспорта, и они заявляли себя выходцами из Марокко. Масуд долго не допускал их до себя, а когда допустил 9 сентября 2001 года, и они задали ему вопросы, раздался взрыв. Масуд был убит, разворочена вся грудь. Рано утром своего последнего дня таджик Масуд «лев Панджшерской долины», как его называли, читал персидские стихи. Шикарно! Разве нет?

Было о ком поговорить. Ален встречался с Масудом два раза. Я очень сожалел, что с ним не встречался. Зато я встречался в Таджикистане в 1997 году с полковником Махмудом Худойбердыевым, тоже полевым командиром. Ален Худойбердыева не встречал. Я рассказал ему о Худойбердыеве. Мы сидели и беседовали. У Киплинга есть выражение «old colonial hands», употребляемое в отношении тех, кто долго прожил в колониях Британской империи. Это особые люди, они другие, чем обитатели сырых бледных городов метрополии, они навеки обожжены южным солнцем диких гор и степей и заражены страстями экзотических стран. Так и мы с Аленом. Хотя и прожили каждый в тех местах Азии сравнительно недолго.

И конечно, мы осторожно хвастались друг перед другом подвигами «наших» полевых командиров.

– Однажды, Ален, душманы ворвались в его дом и взяли в заложники жену и детей. Знаешь, что сделал Махмуд? Он пригнал к месту трагедии танк, сел к прицелу танковой пушки, навёл на свой дом и предъявил душманам ультиматум: или они оставляют его жену и детей в покое и уходят, и тогда он сохранит им жизнь. Либо он разрушит дом и положит всех.

– And what happened?

– A to happened, что душманы ему не поверили. Как, в здравом уме человек может расстрелять из танка своих жену и детей?! Тогда Махмуд прицелился и выстрелил. Когда улеглась пыль, стало ясно, что есть два душманских трупа, дети и жена Махмуда остались невредимы, а те душманы, кто остался в живых, сбежали в горы, Махмуд разумно оставил им свободный проход.

– That is not a white mentality, Edward. You and I cannot do such things¹.

– Махмуд такой же белый, как мы с тобой, не смуглый. Бывший советский офицер. Жена украинка. Готовит ему борщи. Он до сих пор носит советскую форму, правда, выгоревшую добела. Ну да, это не европейская ментальность.

– I will tell you, Edward. Once...² французский образованный Ахмад Шах поиздевался над ЦРУ. В 1990 году люди ЦРУ обратились к нему с просьбой закрыть перевал Саланг на зиму. Выплатили ему за это пятьсот тысяч долларов. Деньги он взял, но ничего не сделал. Устроил пару мелких набегов на дорогу, и всё. Люди ЦРУ обиделись. Однако через шесть лет он им опять понадобился. Они напомнили ему о взятых деньгах.

– How much? – спросил хитрый «лев Панджшера».

– Half a million³, – сказал человек ЦРУ.

– А! – промычал Масуд и обратился к своим советникам на дари: родном языке. Некоторое время они без эмоций что-то обсуждали.

«Мы не получали пятьсот тысяч», – сказал один из помощников спокойно. А Масуд также спокойно сообщил, что погода зимой 1990 года была ужасной. Его люди не могли передвигаться так, как хотелось бы. На том и закончили. Погода подвела.

– That is not a white mentality, Alan!⁴

Мы смеёмся. Я знал в Москве афганцев: сыновей Бабрака Кармаля. В последующие годы Ален будет приезжать ко мне в Сыры время от времени, то один, то в компании Марка Эймса, огромного американца, редактора газеты *Exile*, они подружились через меня.

А потом из Кёльна приехала красноволосая Галина Дурстхофф и предложила мне стать моим литературным агентом в Германии. Я сказал, что я всегда «за любой кипеш, кроме голодовки». Я буду рад иметь агента.

– Что, кроме голодовки? – переспросила фрау Дурстхофф.

– Это такая тюремная поговорка, обычно она в ходу у малолеток. За любое, ну хулиганство, можно сказать. Я за любое хулиганство, кроме голодовки.

– Я тоже, – сказала фрау Дурстхофф. – Детей я вырастила, они взрослые, мы с мужем остались вдвоём, заботиться не о ком. Теперь я все силы буду отдавать работе.

Мы выпили дешёвого вина за то, что мы за любой кипеш, кроме голодовки. Дешёвое вино было у меня дома. Потому что денег у меня никогда не бывает много, а вино я люблю.

– В следующий раз я привезу вам хорошего вина, – сказала фрау Дурстхофф.

Я сказал, что я буду рад.

Когда я её провожал, она уже в дверях вздохнула и сказала:

– У вас такая оригинальная квартира...

– Вам правда нравится? Идёмте, я покажу вам мою ванну на львиных лапах.

И я показал ей ванну на львиных лапах.

¹ Это не менталитет белого человека, Эдуард. Ни ты, ни я так не поступили бы (*англ.*).

² Я расскажу тебе, Эдуард. Однажды... (*англ.*).

³ Полмиллиона (*англ.*).

⁴ Это не менталитет белого человека, Ален! (*англ.*).

– Видите, внутри, вот остатки лап и хвоста, был нарисован зелёный дракон. Часть его стёрлась от времени, а остатки пытался уничтожить я, потом мне эта работа наскучила. Дракон был намалёван жившими тут некогда музыкантами. Кажется, они были наркоманы...

Фрау Дурстхофф вглядывалась в тело ванны, как турист в чудом сохранившиеся фрески Помпей, ей-богу с благоговением.

Когда она ушла, я сел за стол в кабинете и стал наблюдать, как темнеет за окном. Окна в моей квартире в Сырах необычайно широки: каждое – как сведённые вместе два окна, на самом деле. К сожалению, разросшиеся неуместно деревья под окнами сводят на нет преимущества столь широких окон. Я стал раздумывать, а не поручить ли мне моим охранникам как-нибудь ночью спилить деревья к чёртовой матери. Поразмыслив, я решил отказаться всё же от этой затеи. Деревья, падая, могли повредить и детскую площадку и побить стёкла в нашем доме. Жильцы бы меня возненавидели... Так я и жил в Сырах, мечтая об усекновении нескольких деревьев, до тех пор, пока мечтам моим вдруг суждено было исполниться. А когда деревья спилили, то... впрочем об этом дальше...

А потом ко мне приехал французский художник, персонаж нескольких моих книг (он есть в моей книге «Укрощение тигра в Париже») Игорь. Когда я жил в Париже, мы с ним немало покурлесили, что называется. С непьющим приятелем (а он не пьёт вовсе) тоже можно покурлесить. Мы с ним познакомились не то в 1981-м, не то в 1982-м, и вот четверть века спустя, как старые мушкетёры, встретились опять. Из рыжего мужика, похожего на Ван Гога, он превратился в плотного такого пожилого типа, достаточно безумно одетого. Достаточно безумно одет он, впрочем, был всегда, но когда ты молод, то все видят: этот безумно одетый – художник. А сейчас было непонятно, кто этот тип с седой беспорядочной растительностью и на лице, и на крупной башке. Безумный дантист, ушедший на пенсию? Певец, ушедший на пенсию? Во всяком случае, судите сами: на нём были розовые брюки, жёлтые туфли с загнутыми вверх носками, красно-полосая тельняшка из Венеции и обтягивающий его пиджак, сшитый из гобелена (!), на шею наворочен платок, как полотенце.

Я сказал ему, что он выглядит безумно, дал ему постельное бельё и полотенце и отвёл его жить в мою большую комнату. Он был счастлив. Потому что бывший питерский фарцовщик, затем матрос на траулере, беженец, любовник баронесс и банкирских жён, некоторое время муж рыжей внучки французского военачальника, именем которого названа авеню в Париже, он никогда не потерял вкус к жизни. Ему нравится бросать свои вещи где бог позволит, и разнообразие жизни его умиляет так же, как и меня. Вполне нормально, думаю, вписался бы он и в тюрьму, верю в это. Его первое появление у меня было таково.

– Как тут хорошо, Эдик, ты даже не представляешь! – Вкатив свою тележку с сумками (там был и разобранный деревянный подрамник, и какие-то рулоны – должно быть, картины), безумный мужик стоял в коридоре и вынимал из шуршавшего пакета надкусанную булку. – Вот, я купил булочку с творогом, какой творог, во Франции нет такого творога! Там еда безжизненная, без-жиз-ненная, Эдик. Какой ты умный, что ты давно сюда уехал, – и он вгрызся в булочку.

Он привёз мне бутылку вина, и я её откупорил. Я сделал ему чай. Мы сели на кухне. Крыса, вся в буйном восторге, висела на клетке в страннейшей позе.

– Не кусается? – спросил он.

– Кусает только художников. Рассказывай, как жил.

Дела его были запутаны, как его жизнь, а жизнь его спуталась колтуном в волосах. С женой они разбежались. Внучка маршала всё же в конечном счёте не смогла жить с матросом. Их общая дочка, рыжая Антонина, осталась с матерью, но он видит дочку часто. Сейчас он приехал сюда, потому что хочет здесь продавать картины.

– Французы ничего, понимаешь, Эдик, ничего не покупают. Мода на приобретение живописи прошла. Про-шла.

Он живёт в мастерской («Ты ведь у меня там останавливался, Эдик!») в центре Парижа, в двух шагах от метро «Одеон», от памятника Дантону, в мастерской, принадлежащей семье жены. Несколько лет назад у семьи были плохие финансовые дела, и они намеревались его выселить, а мастерскую продать. Но с тех пор дела поправились, и его оставили в покое. Семья его жены имеет пять мест на правительственной трибуне под тентом во время парадов 14 июля. Вот как! Это вам не простенькая семья. Маршал, бабушка его жены, погиб в 1947-м, кажется, году в авиакатастрофе, злые языки уже шестьдесят лет утверждают, что маршала убрал генерал де Голль, они якобы были соперниками.

– Я у тебя немного побуду, до четверга, а потом поеду в Екатеринбург.

– Что ты там забыл?

Выясняется, что у него там русская жена. Выясняется, что она бизнесменша. Дополнительную пикантность этой жене придаёт её возраст. Выясняется, что она чуть старше его. Шестьдесят лет.

– Ты всегда был геронтофилом, но чтоб до такой степени? Что можно испытывать к женщине такого возраста? Псих ты ненормальный...

Он отшучивается, понимая, что защититься у него нет шансов. Как и в юности, он пьёт чай и ест много хлебобулочных изделий. Я пью моё вино и разглядываю его. Как его исказило время! А исказило его время так: почти вся растительность на куполе черепа исчезла. Растительность на затылке и по бокам черепа существует, но она в неприбранном виде, растёт, как серые сорные травы во дворе плохого хозяина. Лицо у него теперь массивное и бледно-розовое. На лбу несколько резких горизонтальных морщин. Шея толстая, грудь и живот, то есть торс художника, беспорядочно надутые и массивные. Время беспорядочно увеличило его, как, впрочем, и большинство мужчин его возраста, чурающихся спорта и правильного питания.

– Разжирел! – говорю я.

– Какой разжирел, ты чего, Эдик, я худенький, – смеётся он.

– Меньше булок нужно жрать.

– Ой, но они такие вкусные здесь.

– Бороду бы отпустил, ты же носил бороду. А то лицо у тебя голое какое-то...

– Ну не нападай, не нападай на меня... Я больше не буду. Я хороший. Я вот что, я тебе кассету привёз, видео, помнишь, я тебя снимал, когда себе видео купил, ты ещё не верил, что что-нибудь получится. У тебя видео и телевизор есть?

– Есть. Сохранились во время отсидки.

– Идём посмотрим?

– Может, потом?

– Идём, ты там такой молодой, матом ругаешься. Там и Наташка есть. Я её в тот же день снимал. Вы тогда отдельно поселились.

Наташка перевешивает чашу весов в пользу просмотра. Через некоторое время, необходимое для того, чтобы он разрыл и разбросал свои вещи прямо в коридоре, дабы найти кассету, и для того, чтобы я вспомнил, как эта проклятая штука функционирует, методом тыка, проб и ошибок, мы, наконец, видим первые кадры.

Моя улица: рю де Тюрени, пересечение её с улицей Pont-aux-Choux, я иду молодой, в плаще прямо на объектив. «Бля, Игорь, чё ты тут делаешь?» Это моя первая фраза. Мы взбираемся затем по витой лестнице в мою мансарду, он за мною. Я снимаю пиджак и раскрываю пакет, а там несброшюрованные гранки моей книги *Memoires of russian punk*, присланные мне из Нью-Йорка... Я ругаюсь страшно, любовно глажу гранки, восклицаю: «Вот она, моя книжечка!» Я без очков, у меня нет седых волос, я наглый, энергичный, циничный, – точно такой, каким я себя изобразил в рассказах и книгах того времени. Я удовлетворён собой и удовлетворён как художник тоже, как artist, всё правильно сделал.

– Это какой год, Игорь?

– Это, Эдик, по-моему, 1986 год.

– Двадцать лет прошло, Игорь!

Мы сидим – два седых мужика, и я разглядываю себя с дистанции в двадцать лет спустя. И он рассматривает. Я там, в том времени, разогреваю ему суп, а сам пью белое вино Blanc de blanc и рассказываю о своей драке с наркоманом у Центра Помпиду. Впоследствии я напишу об этом эпизоде рассказ «Обыкновенная драка».

– Ты понимаешь, Игорь, всё величие современной техники, а? Запечатлённая вечность. Мы сидим, я вот убеждаюсь, что я именно такой и был, каким себе представляю...

– Ты вот над Игорем смеялся тогда, а Игорь умный был, и вот ты теперь можешь про вечность тут. Ты сопротивлялся прогрессу, а я нет. Я купил и стал снимать. Давай Наташку ещё посмотрим.

Из небытия, из глубины вечности объектив в руках бывшего матроса лижет лакированные ступени крутой винтообразной лестницы, ведущей к студии русской девушки, тогда она носила фамилию Мариньяк, Наташи Медведевой. Девушка, простая и опухшая ещё от ночного клуба, открывает дверь, вначале просунув нос в щель. Впускает гостя. Расхаживает в ночной рубашке...

Из будущего через двадцать лет, из квартала «Сыры» я гляжу на улицу Сент-Совер (Святого Спасителя), а там круглолицая, чуть опухшая, смешливая собирается в парижские улицы большая русская девка.

– Ты её, Эдик, очень любил. И она тебя, – вдруг говорит Игорь.

– Дура она была, – слышу я свой голос. – Ничего не понимала в законах жизни.

– Может, и так. А зачем женщине быть умной, Эдик? Она должна быть привле-ка-тель-ной, – нравоучительно тянет Игорь.

Я думаю. Я думаю, косясь на старого приятеля. Он как с того света приехал. Был долго-долго на том свете, и вот возник. А я не удивился даже. Приехал – приехал, на тебе постельное бельё, полотенце. Как в отеле. Надо ему ключи дать.

Я встаю.

– Хватит! Пойдём, дам тебе ключи и покажу, как двери закрывать. Будешь автономным. Только закрывай на все замки.

Я выключаю видео одним нажатием кнопки.

– Хорошо, слушаюсь, гражданин начальник, я больше не буду... Он встаёт. Я понимаю, я привык командовать, а он свободный художник...

Впоследствии он приезжал очень часто. Либо из Парижа, либо из Екатеринбурга, либо из Санкт-Петербурга, где у него есть брат. Улетая в Париж, он там не сидел, но тотчас улетал в какую-нибудь Барселону, где у него был приятель – владелец отелей, заводов, пароходов, – либо в Италию, а то даже собрался в Колумбию, где у него должна была быть выставка, вот не помню, была ли.

С ним постоянно случались и случаются всякие немыслимые происшествия. Например, его не пустили в Литву, высадили на автобусной остановке в мороз минус двадцать, где-то в чистом поле, и он пошёл пешком в Беларусь. Одет он был в плащ, ковбойскую шляпу, очки в толстенной оправе, и тащил за собой тележку, навьюченную, помимо обычного его багажа, ещё двадцатью килограммами красок, которые он взялся передать некоему неизвестному художнику в Петербурге. Белорусские пограничники только крякнули, увидев в морозной степи столь странного персонажа.

Даже на московских улицах с ним случались экстраординарные происшествия. Так, однажды он невольно попал в эпицентр драки. За неизвестным мужчиной гнались несколько преследователей.

Пробегая мимо Игоря, неизвестный схватил его и использовал его как живой щит, прикрываясь им от преследователей. Над художником взлетали кулаки, и рядом свистели ножи.

Однажды он решил отдохнуть и тайком от меня купил путёвку в подмосковный санаторий. Довольно задорого. Вернулся он оттуда уже через два дня. И сам поведал мне свою печальную историю. Оказалось, все места в санатории были скуплены некоей кавказской бандой. Он оказался там единственным белым человеком. Его не обижали, но то, что творилось вокруг него, вынудило его сбежать.

– Ой, Эдик, это было страшно. Я боялся за свою жизнь, понимаешь. Ночами они там стреляли в друг друга, и всё такое. Я ошибся, признаю, я думал, там будут сосны и красивые девушки.

Он вздохнул, и не притворно.

В Париже с ним тоже случается всё, что только может случиться с таким безумным, как он, человеком. Во время президентских выборов, убеждённый правый Игорь предложил свои услуги избирательному штабу Жан-Мари Ле Пена. И был отправлен на расклейку листовок. Как-то ночью бригаду расклейщиков из трёх человек, куда входил Игорь, вычислили «пятнадцать арабов». «Пятнадцать арабов, Эдик, страшные такие!». Французы сбежали в автомобиле, а Игорь остался разбираться с разъярённой толпой. Выручил его его русский акцент. Его даже не побили, только отобрали плакаты. А Ле Пен проиграл всё равно. «Франция будет принадлежать иностранцам, наверное, арабам, Эдик. Это очень печально», – говорит мой анекдотический друг.

Моим охранникам он предлагал идти на Красную площадь клеить девок. Он им нравится, хотя, казалось бы, так далёк от их мачо-идеалов, этот смешно одетый старый дядька.

– Почему он вам нравится?

– Он прикольный, понимаете, Эдуард, весёлый.

Я отказываю ему в пристанище, только когда у меня появляется новая девка.

Варенька

Когда они сходят с питерского утреннего поезда, эти девочки, чуть качаясь от долгого состояния вынужденной неподвижности, они все кажутся дегенераточками. А тут ещё ночные тени, если это зима. Выглядят они гротескно. И ты в первые минуты жалеешь, какого чёрта ты влип в эту историю... Но ты идёшь, охранники спереди, охранники сзади, идёшь перекидываясь с ней самыми незначительными словами: «Как доехала? Не холодно ли было в поезде? Что у тебя за семья?» Идти, правда, недолго, только до «Волги».

Когда мы сели в «Волгу», дремавшую на стоянке Ленинградского вокзала, охранник впереди, водитель над рулём, и стали выезжать, то выяснилось, что доехала нормально, было не холодно, из семьи одна мать. Мамка у неё оказалась поэтессой, и она быстро набросала её и себя, два портрета. Я домыслил недосказанное и понял, что она выросла, прислуживая жрице искусства и её питерским спутникам. В результате у поэтессы сформировалась такая скептическая рабочая дочка, кривящаяся при слове «искусство» и слове «поэзия». Видимо, у дочки «поэты» и «поэзия» навечно теперь ассоциировались с грязными тарелками и стопками, переплетённо лежащими в кухонной раковине. Трудно винить её в отвращении к поэзии после тысячи таких натюрмортов в раковине.

Ей двадцать лет, она – жилистый худенький маленький ребёнок, с сиськами размером с кофейные чашки. Большие серые глаза старше двадцати лет.

Смелая. Большой лоб. Под джинсами не угадывается попы.

– Какая ты тощая, Варька!..

Ей говорили, что она похожа на тощую Ванессу Паради.

Я рассказываю ей, что в середине восьмидесятых увидел эту Ванессу-подростка, всю состоящую из острых углов колен и локтей, сидящей тощей попой на стойке бара в ночном клубе «Бандюж». Тогда она ещё не была знаменита. Именно в эту ночь состоялась телепремьера клипа хита Ванессы «Джо, ле такси», после чего пошла её карьера. Что делал там я? Телеведущий Тьерри Ардисон пригласил меня и посадил за один стол с мсье Шабан-Дельмасом, тогда он был председателем Национального собрания Франции. Я пришёл с забинтованной головой, потому что накануне мне проломили голову трубой в рабочем пригороде Парижа, Обервилльерс...

Серые глаза слушают. Рука поправляет беленькую, подкрашенную чёлку. Париж, ночной клуб «Бандюж», пробитая трубой голова в рабочем пригороде. Им это интересно. Чужая моя жизнь, которую они никогда не проживут...

Если отец у тебя мясник, ты должен возненавидеть мясо? Видимо, так. Если мама поэт, ты ненавидишь поэзию.

Как я с ней познакомился? Она написала мне в лагерь и прислала фотографию. Старый греховодник, я определил её как «юную маргаритку» и написал ей ответ. Завязалась переписка. Пока со мной пребывала бультерьерочка, переписка тлела, когда я убедился, что бультерьерочка полностью бесчувственна ко мне, я поинтересовался у Вареньки: не собирается ли она в Москву? Я бы охотно встретился с ней, если денег нет, я оплачу билет.

И вот мы едем в «Волге» в мои Сыры. Сыры не производят на неё должного впечатления, хотя у въезда в туннель я показываю ей толпу бомжей, собравшихся в ожидании полевой кухни с едой. Благотворительные организации пользуются этой территорией для кормления бомжей. Оказывается, у неё в Питере, на её окраине, бомжи спят в её подъезде, так что она и ухом не ведёт.

Мы въезжаем в 4-й Сыромятнический переулок. Я показываю ей на площадку, ровно то место, где сейчас находится вход в центр современного искусства «Винзавод».

– Здесь с вечера стоят проститутки. Сутенёры привозят их на двух газелях.

Проститутки также не производят на неё никакого впечатления. Она простенько кивает: «Угу!», с таким скучающим видом, как будто сама проработала долгую жизнь проституткой. Между тем ей ровно двадцать лет, и она работает в книжном магазине.

У меня в квартире мы усаживаемся на кухне и начинаем пить вино. Впрочем, после того, как она познакомилась с моей крысой. Крыс отнеслась к ней дружелюбно, она приветствует всех, кого приводит хозяин, её вождь, вожак, хотя стая у нас состоит всего из двух: я и она. Крыс доверяет мне безоговорочно. Побегала по Вареньке, нюф-нюф, понюхала, спустилась и занялась своими делами. А мы пьём вино.

Вино ей нравится. Пьёт она с удовольствием. Как выяснилось позднее, все девушки из Петербурга пьют вино с удовольствием. Те, что не из Петербурга, также пьют с удовольствием. Обычно вначале они сдерживают своё удовольствие. Множественное количество девушек из Петербурга побывало в моей квартире в Сырах, потому я и начал моё повествование о Вареньке во множественном числе: «когда они сходят с питерского утреннего поезда, эти девочки...» Но Варенька была первой.

Существует моя литературная жизнь, существует моя политическая жизнь, существует даже моя мистическая жизнь, и уж тем более существует личная. Случилось так, судьба яростно поспособствовала этому, что моя личная жизнь не была уложена судьбою в бетонные, облицованные плиткой берега раз и навсегда. Я пытался построить несколько семей, но все они рухнули. Потому вот и живу я так, как я живу. Приезжаю на Ленинградский вокзал и встречаю девушек. Или месяцами сижу с крысой.

Варенька пьёт, глаза её теперь блестят, она раскраснелась, губы увеличились, разбухли, мочки ушей покраснели. Она даже начала есть, начала с салата и чуть отъела от свиной отбивной, хотя уверяла, что не ест мяса. Мясо ей отвратительно. Вот уже и не совсем отвратительно.

Заметив мой взгляд, она пытается оправдываться:

– Ты так вкусно заразительно ешь, что поневоле заражаешь своим здоровым энтузиазмом. Вообще-то я против убийства и пожирания трупов животных.

– Я тоже, но есть хочется.

– Вот вино, это хорошо, – она пригубила бокал.

Тогда я только купил бокалы, и они у меня были, роскошные, на высоких ножках все целы. Сейчас остался один. Пусть на убитой кухне, но я предпочитаю пить мои напитки из достойной посуды. У меня даже есть узкие фужеры для шампанского.

– Я нахожу, что я пью слишком много вина. И оправдываю себя тем, что много вина пил и великий Гёте. И он тоже терзался тем, что выпивает одну-две бутылки красного ежедневно. Существует его восклицание: «Ах, если бы я мог обходиться без вина!» В восклицании звучит одновременно и смирение перед собственной слабостью, и огорчение по поводу её.

– А что, он вправду великий?

– Гёте? Несомненно великий. Правда, я понял его величие лишь совсем недавно, когда мой возраст жёстко поставил передо мной проблему Фауста. «Фауста» Гёте я прочитал ещё в ранней юности и был скорее скандализирован старомодностью изложения истории. Сейчас я перечитываю «Фауста» как притчу о человеке, пожелавшем продлить свою жизнь и наполнить её высшим смыслом. И как притча, – «Фауст» изумителен. Там уже есть всё – и нищезанятие, и можно заметить тень Гитлера в перспективе кулис. А ещё в конце жизни мне, конечно, близки мотивы страстей пожилого джентльмена к юным девицам. Грэтхен в «Фаусте» четырнадцать лет, вы знаете об этом, Варя?

Варя делает круглейшие глаза и очень улыбается.

– Тебя, наверное, соблазнил давным-давно какой-нибудь старый поэт, приятель или бывший любовник матери, предварительно влив в тебя водки. Да, Варя?

– Называйте меня прочно на «ты», Эдуард. Вы скачете с «вы» на «ты», но я буду называть вас на «вы», потому что «ты» у меня не будет получаться. Да, меня банально соблазнил поэт,

приятель матери, не такой уж старый. Но он был вторым, потому что первым был парень из нашей школы. Тот парень меня, впрочем, не соблазнял, дал в живот кулаком, и пока я охала, он успел совершить весь процесс своего чёрного дела. А с поэтом было хорошо. Некоторое время. Ну и что, Фауст, Эдуард?

У неё развесёлый вид. Она нравится себе такой: прямой, циничной, резкой, «крутой», как говорят сейчас, прямо говорящей о вещах интимных. У неё такой вид, что ясно, она приехала с уже готовым решением «дать» мне и посмотреть, что из этого получится.

– Фауст, Варя, стремился убежать от судьбы обычных смертных, и, как и Гёте, преуспел в этом. В последних сценах второй части «Фауста», его герой совершает колоссальные по тем временам строительные подвиги. Он строит дамбу и таким образом отвоёвывает у моря территорию. Правда, попутно он, как подобает герою наступающей эры капитализма, уничтожает буколическую жизнь любящей пары стариков: Филимона и Бавкиды. Эту часть «Фауста» Гёте спортретировал с самого себя. В веймарском правительстве на службе у герцога тайный советник Гёте как раз занимал пост министра копей и путей сообщения и занимался строительством дорог и полезных общественных сооружений.

– А как же продление жизни и молодости?

– Есть чёткая сцена у ведьмы на кухне, где прибывший с Мефистофелем Фауст пьёт изготовленный ведьмой отвар: благодаря отвару к нему возвращается молодость и потенция...

– Где тут у тебя туалет?

– Туалет у меня самый старый в городе. Такие можно увидеть только в фильмах о жизни рабочих в период их наибольшего угнетения капиталистами. Пойдём, я открою тебе дверь, потому что дверь перекосячена и сама ты не сможешь её открыть.

Я помещаю её в туалет и возвращаюсь в кухню. От кухни туалет отгорожен всего-навсего полугнилой фанерной перегородкой, часть её высоко вверху выломана. Потому мне очень хорошо слышно как она писает, сильной мощной струёй рабочей злой девочки. Я отмечаю, что звук её струи меня волнует. А также вспоминаю, что, спрашивая, где туалет, она назвала меня на «ты».

Она выходит.

– Справилась? Не испугалась.

– Нормально. Бывает и хуже.

– Я слышал, как ты писала... сильной струёй...

Ей-богу, она смущается.

– Зачем подслушивали?

– Да тут конструкция такая, видите, Варя?

– А не подглядывали?

Тут я беру её за плечи и веду, подталкивая, в большую комнату.

– Идём, я посмотрю на тебя, Варя...

Я говорю, понизив голос.

– Куда вы меня тащите?... – Варя шепчет эти слова. Идёт.

– Нам нужно кое-что выяснить...

– Что выяснить? – шепчет она.

Мы уже в большой комнате, и я пригибаю её сесть на кровать.

– Некоторые соответствия или несоответствия между нами...

Дальнейшее состоит из невнятных звуков и небольшой схватки, заканчивающихся соприкосновением её и моего тел в нужном месте.

Через некоторое время мы опять в кухне и опять пьём вино.

– Вот вы какой? – она улыбается.

– И ты такая, – улыбаюсь я.

Мы целуемся. Она уже превратилась для меня в худенького, горящего изнутри ребёнка. В Библии есть выражение «познать» девушку. Вот и познал. Воистину познаёшь только так. И настоящий темперамент, и присутствие или отсутствие страсти.

– Ты интересно говорил о Гёте и Фаусте. Может, знаешь о них ещё что?

– Гёте начинал, как и я, с суицидального, протестного романа. «Страдания молодого Вертера» понравились всей Европе, потому что таких Вертеров уже жили в Европе, ну если не толпы, это был распространённый тип.

– У тебя не суицидальный роман, Эдуард.

– «Это я, Эдичка» начинается с суицидальной ситуации, и герой еле удерживается, чтобы не соскользнуть в суицид. Как и за двести лет до меня Гёте, мне повезло создать популярного героя. Такой герой никогда не умрёт, всегда останется юн и свеж и достоин сострадания. Кстати, сам Гёте был долгое время эмоционально неустойчивым. Последний по времени жизненный кризис, выход из которого он искал в мыслях о самоубийстве, случился у него в возрасте тридцати семи лет, когда его оставила после долгого романа его дама фон Штейн.

– Я хотела бы иметь фамилию фон Штейн.

– Тебе подойдёт, ты бледная немочь. Все «фоны», которых я встречал в жизни, все были бледными и худыми. У меня была в Мюнхене девушка Ренат фон Гриндер в 1982 году. Я дал её имя тогда же одной из женщин в «Палаче». Ренат была высокая и очень худая, с матовой кожей, прусская аристократка.

– Я очень даже крепкая.

– Не сомневаюсь. У тебя крепкие ягодицы. Видимо, мама поэтесса порола тебя часто...

– Не порола никогда...

Я вёл себя как голодный из голодного края. Я эксплуатировал её сутки. Это оттого, что жизнь моя с бультерьерочкой была очень постной. На следующий день мы всё же пошли гулять на Красную площадь. По улице Воронцова Поля дошли до Покровского бульвара, добрались до Китай-города, а оттуда по Варварке пошли к Кремлю. С нами были охранники.

– Это твоя улица. Варварка!

Она была в курточке и с фотоаппаратом. Милиционеры на Красной площади, опознав меня, было задёрнулись, однако присутствие рядом со мной девушки их, видимо, успокоило. Она снялась у мавзолея и у собора Василия Блаженного. Фотоаппаратом манипулировал я, хотя я фотограф нулевого класса. Я разве что способен управлять мыльницей. Что я и делал на войнах. Современные цифровые аппараты, правда, рассчитаны на владельцев-идиотов, там все операции автоматизированы. Меня удивило, что она не изъявляет желания сфотографироваться со мной. Подумав, я однако пришёл к выводу, что фотографии со мной будут ей неудобны. Нужно будет прятать их от матери. Впоследствии выяснилось, что я был не прав, она поставила мать в известность, что едет ко мне. Однако я был и прав. Впоследствии выяснилось, что у неё есть некий «немец», на самом деле уехавший из России и живущий в Германии то ли русский, то ли еврей, то ли полуеврей. Из её рассказов о нём он представал как плотный, если не сказать упитанный мужчина лет тридцати пяти. Нерешительного характера, поскольку он и звал Вареньку к себе, и не решался на ней жениться. А она жила бы с ним, если бы он женился. Двадцатилетняя, она трезво смотрела на вещи, предполагая, что ей с ним жить будет скушно. Однако, воспитание её, то есть безотцовская жизнь с матерью-поэтессой, подсказывало ей, что следует упорядочить жизнь и иметь мужчину. Она колебалась, а когда появился я, стала колебаться ещё больше. Например, она не пошла за немецкой визой в консульство Германии.

Такой себе вот упрямый двадцатилетний росток девочки. Я с удовлетворением думал, помню, что она на два года младше бультерьерочки и таким образом я не деградирую, не скачиваюсь к пожилым женщинам. Что она обо мне думала? Грубее и проще. Она порой кричала

грубости во время наших с нею любовных утех. «Давай, кобель!» было её боевым кличем. «Давай, кобель!». Поскольку кобелю был уже шестьдесят один год, ему нравилось.

Она стала ко мне приезжать. Мне нравилось, что она неизвестна, что работает в магазине, что у неё нет маникюра и ногти просто острижены, и даже есть заусенцы. Мне нравились её красноватые кисти рук, тощие ножки и ручки. Обезжиренная попа. Вот такой я человек. Мне всё это нравилось. Представьте.

Всё было обычно более или менее одинаково, каждый её приезд. Встреча на полутёмном Ленинградском (я в кепке на глазах, чтобы не узнали), проход по перрону до «Волги», охранники вокруг, уселись в машину, гиде через тёмный ещё город, и мы у меня. Вино и еда на кухне, затем переход в большую комнату в кровать. Сотрясение кровати... Я целомудренно не стану предавать гласности то, что является личными воспоминаниями, а тогда было личными ощущениями. Скажу только, что худое, жилистое тело подростка было твёрдым, но упоительно было её подчинять.

В один из приездов был мороз, я помню, а она всё в той же курточке, только платок на шею намотан, мы поехали в Третьяковку. Доехали на «Волге», однако не вплотную, запарковались чуть поодаль. Даже в те пять-семь минут, что мы шли до Третьяковки: она, я и охранники, – мы успели отчаянно замёрзнуть. Несмотря на то, что мой бушлат был много теплее, чем её курточка. Она, по-видимому, обладала ещё незаурядной нервной силой.

В Третьяковке было тепло илюдно. Я купил всем билеты, и мы пошли раздеваться. Нам выдали синие бахилы из пластика на резиночках, которые нужно было одевать на обувь. Такие бахилы обычно выдают в больницах и клиниках. Мы сели на скамейки и натянули бахилы.

– Какое странное русское слово «больница», – сказала она, выпрямившись – строгая, как маленькая щепка в бахилах.

– Это место, где люди претерпевают боль и где другие люди пытаются избавиться их от боли. В больнице всё устроено вокруг боли. Ты тоже, как и я, наткнулась на слово «больница», натягивая эти синие бахилы?

– Ну да...

Тётушки-смотрительницы музея, пошептавшись, прислали ко мне делегацию с просьбой дать им автографы. На музейных программках. Я учтиво дал. Музейные тётушки никогда не меняются, сколько я их помню, с шестидесятых годов прошлого века они всегда одеты и причёсаны так консервативно, как английская королева, застыв навеки в стандарте.

Она очень старательно, картину за картиной, стала осматривать экспозицию. В тот день не было специальных выставок, а если были, мы на них не пошли, мы прошли дорогой обычных экскурсантов по залам художественного музея, дорогой народа, который поздно пришёл к живописи. Во времена, когда у нас появились первые светские живописцы, весь мир уже успел создать за столетия десятки тысяч картин и набить ими свои музеи. Она стояла, подростком, в сереньких застиранных джинсах и кофточке, сероглазая, совершенно мне чужая... Перед полотном Брюллова...

Тут я остановил свою мысль. А кто мне не чужой? Бультерьерочка была мне когда-то не чужой, потому что мы разделяли вместе некие ритуалы, общепрожитые моменты. Пока я был в тюрьме, эти ритуалы разрушились, воспоминания о моментах поблекли, прервалась живая связь... Варя обернулась. Я подошёл к ней и незаметно для охранников погладил её по попе. Но охранники, работающие со мной годами, заметили мою скупую ласку. «Поедем домой?» – поняла она. Экспозицию мы всё же досмотрели. Зал Врубеля тогда только ещё учредили и оборудовали, но главный «Демон» уже висел под потолком и глядел на нас вниз дерзкими глазами...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.